

...Что там, за этим снегом?
Юрий Левитанский

Ласточка, Ласточка... Прошлое безмолвной тенью стоит за спиной.

Два года как она вышла замуж. Муж купил ей собаку по кличке Флипп. В воскресенье утром Ласточка выводит Флиппа во двор, я вижу их из окна. Следом выхожу во двор я, и мы гуляем втроём, пока псу не приспичит завтракать. За время прогулки мы успеваем поговорить о каком-нибудь пустяке, вроде того, что у Флиппа испортился сон и надо бы показать его ветеринару. Или обсудить подарок ко дню рождения её мужа: «Купи ему зажигалку». – «Саша не курит». – «Забыл. Тогда купи носки».

Мы расстаёмся, чтобы в следующее воскресенье потолковать о новых носках или бестолковом ветеринаре.

«Пошёл снег, и я вспомнила, как ты целовал меня когда-то. Ужасно, правда?»

Ласточка никогда не звонила по телефону. Опускала в мой почтовый ящик короткие записки. Я читал, и не было случая, чтобы не поверил написанному.

Я выглядываю в окно. Тяжёлые хлопья снега, покачиваясь, плывут во тьму. Уже поздно, почти одиннадцать, но я одеваюсь и иду к ней.

Ласточка встречает меня молчанием. Я целую ей руки, холодные и хрупкие точно стекло. «Где же Саша?» – спрашиваю я. «Там, у своих. Кто-то родился или умер не помню». Флипп к моему приходу равнодушен. Поворчав для виду, ложится на ковёр, дремлет. Мы пьём чай и молчим. Проходит четверть часа или больше. «Что такое линотип?» Я начинаю объяснять, говорю долго и обстоятельно, словно читаю лекцию перед аудиторией. Ласточка слушает с интересом, потом вдруг улыбается и говорит: «Ты – кикимора! Пойдём погуляем?»

Мы спускаемся во двор, волоча на поводке упирающегося Флиппа. Почувяв свежий снег, пёс нервничает, дрожит и повизгивает. Ласточка отпускает поводок, и Флипп, нелепо подпрыгивая, принимается кружить по заснеженному двору. Мы стоим, прижавшись друг к другу. Ласточка прячет руки в карманах моего пальто. Флипп, насторожившись, подходит и обнюхивает мои брюки. «Иди к чёрту!» – я отпихиваю пса ногой. Ласточка смотрит на меня, словно хочет прочесть в моих глазах

что-то важное. Я чувствую, что или закричу сейчас, или, того хуже, упаду в обморок. Её лицо совсем рядом, я ощущаю губами тепло её дыхания. «Что такое мамелюк?» – тихо спрашивает она.

Утром я извлекаю из почтового ящика другую записку. «Я больна, а снег идёт и идёт». Выйдя из подъезда, я поднимаю голову. Сквозь густой снегопад смутно темнеет силуэт окна. Печально, Ласточка, вероятно, в самом деле больна.

Я иду прочь от дома. Слишком много дел сегодня.

Я тороплюсь и делаю вид, будто не слышу, как кто-то бесшумной тенью спешит за мною.

Я И МАМУХОВ

Моим друзьям – Димычу, Гешке, Михаилу и Шуре

В комнате одуряюще пахнет яблоками.

Я открываю глаза. Комната светла от валом валящего за окном снега. По потолку бродят уродливые тени, ветер упорно шлифует оконное стекло. Оно потрескивает и тихо вздыхает, словно боится жаловаться вслух.

С крыши дома напротив обрушиваются вниз плотные волны снега. Вокруг неоновой фонаря вихрится переливающийся бирюзовый шар. Сверху, из чёрной глубины, опускаются всё новые и новые снеговые завесы, лёгкие и быстрые. В узкой каменной трубе между домами рождаются белые смерчи и, бешено крутясь, исчезают в глубине двора.

Я включаю ночник и смотрю на спящего Мамухова. Он полулежит в кресле, вытянув длинные ноги и накрывшись дублёным полушубком. Я рассматриваю его лицо с пухлыми губами, широким приплюснутым носом и узко посаженными глазами и думаю о том, что бронзовый загар не сделал его привлекательнее. Есть люди, которых загар украшает и молодит. Они это знают и ездят отдыхать исключительно в Крым. Мамухов к этой категории людей не относится. Он похож на актёра, забывшего смыть грим, и потому его лицо – не его лицо.

– Погаси свет, – неожиданно говорит Мамухов. Я послушно выключаю ночник и накрываюсь с головой. Мы так давно не виделись, что нам не о чем говорить. Сейчас я согреюсь и усну, а утром Мамухов уедет. Вечером я звякну ему и узнаю, как он добрался до дома. А потом всё войдёт в привычную колею.

...Мамухов позвонил около часа ночи и попросил дозвониться ему домой. Он только что примчался на поезде из далёкой солнечной республики, где никогда не бывает снега. На вокзале его никто не встретил, а он в цейтноте из-за нежного груза. Денег у него в обрез, и таксисты смотрят на него глазами агнцев, только вчера научившихся говорить «мама».

Через десять минут (по договорённости) он звонит опять и узнаёт от меня, что трубку у него в квартире никто не поднимает. Мамухов пытается объяснить мне, что, наверное, никого нет дома, я хватаю пять тысяч, потом такси, потом Мамухова за шиворот, потом таксист мои пять тысяч – и мы у меня.

В комнате витает яблочный аромат.

Ящик стоит у противоположной стены на радиоле.

Предусмотрительный Мамухов просверлил в стенках ящика отверстия, поэтому драгоценные плоды не увяли. Мамухов вообще деловой мужик. Я бы ни за что не потащился из такой дали с двадцатикилограммовым ящиком. Я не люблю лишние

хлопоты, поэмы привожу из дальних поездов мелочь, уместающуюся во внутреннем кармане пиджака: брошюрки редких стихов, фотовиды на море, шариковые авторучки, диковинные кошельки, очки, расчёски... Мамухов хлопоты любит. Его хлебом не корми, но дай посуется у прилавка или окошечка кассы.

Представляю, как он ликовал, когда придумал насверлить в ящике дырок!

Мамухову я завидую и этого не стыжусь. Он деятелен, и его все любят. Очевидно, ещё при рождении в нём открылся клапан общественно полезной деятельности, который во мне завинчен наглухо. Поэтому в то время, когда Мамухов крахмалит сорочку по собственному методу, я лежу на диване и жду, кто же бросит мою рубашку в стиральную машину.

Мы одноклассники. Только он родился в январе, а я в декабре. Он выше меня ростом, а я красивее его лицом. В предложении из десяти слов он делает три ошибки, а я ни одной. Утюг он ремонтирует сам, а я предлагаю купить новый. У него есть записи Боба Дилана и ранних «Пинк Флойд», а у меня – Рускони и Вивальди. Он знает, где в Москве можно достать белый джинсовый материал, а я не помню точно, сколько стоит мой любимый сыр сулугуни. В кроссворде он оставляет неразгаданными двадцать слов, а я только два. В конце концов, у него есть девушка, а у меня нет.

– Я закурю? – спрашивает Мамухов.

– Если хочешь, – отвечаю я. От алой точки сигареты становится уютнее, и тени на потолке уже не кажутся такими уродливыми. Сигаретный дым и яблочный дух смешиваются, я лежу и прислушиваюсь ко вздохам, которые издаёт Мамухов. Ему не спится, не спится и мне.

– Знаешь, я видел страшный сон. Будто нас нет и никогда не будет. Мы сидим в огромной комнате, полной зеркал, и знаем, что на самом деле мы не существуем, потому что ни в одном из зеркал нет наших отражений. Как ты думаешь, что это значит?

Мамухов хмыкает и ничего не отвечает. Я включаю свет. Он рассматривает потолок, пускает кольца дыма и улыбается как блаженный.

– Чего тебе хочется от жизни, Мамухов?

– Серьёзно?

– Как знаешь.

– Чтобы я стал богатым. Потом, чтобы женился на сексуальной девушке и чтобы у нас было двое детей. Мальчик и девочка. А потом, чтобы они стали известными киноактёрами.

– Ты честолюбив, Мамухов.

– А ты?

– А я нет. Я просто хочу умереть раньше, чем ты.

– Почему?

– Не знаю.

Я вру. Я не могу представить, как буду стоять над ямой, пахнущей свежей глиной, и слушать, как стучат и перекатываются по крышке гроба комья земли, а в нём, в этом гробу, заколочен Мамухов...

Мамухов накидывает полушубок и на цыпочках подходит к двери.

– Ты куда?

– Надо позвонить.

Я смотрю на часы.

– Обалдел? Четыре часа утра.

Он подносит руку с часами к лицу и склоняет голову набок, как подслеповатый сеттер.

– Действительно.

Он опускается в кресло и сидит неподвижно минут пять. Взгляд его блуждает по комнате, потом останавливается на окне. Сигарета гаснет.

– Ты, Мамухов, похож на Гамлета.

Он вздрагивает и спрашивает безо всякой связи с моим высказыванием:

– Слушай, от менингита умирают?

– Умирают, – просто говорю я. – Но редко.

Мамухов молчит. Смотрит в окно и молчит. Но я догадываюсь, что он осуждает меня за столь равнодушный, по его мнению, ответ. Этот чужак думает, что я должен падать в обморок, когда кто-то незнакомый мне умирает от менингита!

– Давай спать, – говорит Мамухов, и я выключаю свет.

Метель за окном приутихла. Снег сыплется ровной стеной, крупные хлопья покачиваются в воздухе и, кажется, скрипят наподобие древних фрегатов. Сквозь окно в комнату проникает молочный холодный свет. Можно различить небольшой покатый лоб Мамухова, календарь на стене, ящик на радиоле. Во сне я вижу огромное зеркало, по которому ползёт тонкая трещина...

Утром Мамухов исчез бесследно. Может, взялся за осуществление какой-нибудь бредовой идеи, а может, просто никого не хотел видеть. Моё отсутствие его совершенно не волновало. Мы с Мамуховым отлично обходимся друг без друга.

Иногда мне вообще кажется странным, как у нас хватает терпения целыми часами болтать о пустяках.

Как ни хорошо мне без Мамухова, но всё же первого января я надеваю шубу и иду проведать его. Пустынные улицы безлики, словно умерли после бессонной ночи. Разбуженные скрипом шагов подворотни сердито зевают вслед. Проносится навстречу пустой троллейбус, похожий на шального пса. По проезжей части идут два подвыпивших парня с гитарой. Я сворачиваю в нужный мне переулок, поднимаюсь по затоптанной лестнице на третий этаж и нажимаю кнопку звонка. Дверь не открывают, и я принимаюсь колотить в неё кулаком. Потом подключаю правую ногу. Наконец, дверь распахивается, и я вижу Мамухова в трусах и майке. Вид у него совершенно дикий.

– Что? – спрашивает он. – Ты откуда? Уже утро?

Я киваю и прохожу мимо него в комнату. Остановившись у стола, жду Мамухова. Он возвращается из прихожей и, болезненно кутаясь в одеяло, садится на измятую постель. Я смотрю на его небритую физиономию и почему-то вспоминаю затоптанную лестницу, ведущую на третий этаж.

– Что случилось? – спрашивает Мамухов.

– Это я должен спрашивать, что случилось, – говорю я. – Тебе пора побриться.

Он проводит ладонью по щеке.

– Предрассудки...

Я слышу, как в кухне урчит холодильник. Мне становится не по себе, так как я никак не могу сообразить, зачем же я всё-таки сюда пришёл? Мамухову хорошо. Он сидит себе и молчит, и это его дело. Хитрец! Ждёт, когда я начну нести какую-нибудь дичь, а он глянет на меня как на помешанного и съезвит в мой адрес.

– У тебя обои новые.

– Нет, старые.

После некоторого раздумья я киваю на дверь в соседнюю комнату:

– Отец где?

Мамухов неопределённо пожимает плечами. Я беру со стола листок бумаги – и краснею от неожиданности. На листке старательно выведены Мамуховской рукой две строчки, служащие, очевидно, началом стиха:

Декабрь. Часы. Том Шекспира. Не спится.
Качается маятник древних стихов.

– Твои? – взмахиваю листочком.

Он задумчиво рассматривает протянутую к нему руку и тихо-тихо говорит:

– Понимаешь, я теперь совсем один.

– То есть как? – дежурно спрашиваю я.

– Вот так. Положи, где взял.

Я ни с того ни с сего начинаю злиться и ору на него:

– Ты можешь объяснить толком, что произошло, чёрт губастый? Я переживаю за него, где он, что с ним, прихожу к нему домой – а он начинает играть со мной в отгадки! Думаешь, я тут буду с тобой рассусоливать? Ищи дурака в зеркале.

– Тоже мне, праведник, – презрительно говорит он и выходит из комнаты.

Я плюхаюсь в кресло. Долго раздумываю, хлопнуть дверью или нет? Раздражение потихоньку улетучивается, а решение всё ещё не принято. Как это ни глупо, но я действительно не понимаю, что происходит с Мамуховым.

– Ты разругался с отцом? – кричу я через комнату.

Мамухов возникает в дверях, одетый в свой вечный полушубок.

– Ты, малыш, – говорит он. – Поехали.

Два часа мы трясёмся в автобусах. Мамухов кутается в дублёнку и молчит. Автобусные окна заляпаны жёлто-коричневой грязью, отчего в салоне кажется ещё тесней и неуютней, чем на самом деле. Наконец, водитель объявляет конечную остановку. Мы вылезаем на свет божий... Перед нами ворота, такие огромные, что можно сказать, что никаких ворот, в общем-то, и нет. Мамухов обводит взглядом белое пространство, разбитое на крохотные участки, и произносит:

– Говорят, вчера старый год сменился новым

Потом он ведёт меня по узкой дорожке между решётчатыми оградками, присыпанными снегом. Кое-где за оградками копошатся чёрные фигуры. Я не решаюсь рассматривать их. Почему-то я чувствую себя виноватым в том, что они по ту сторону ограды, а я – по эту.

– Откуда ты знаешь дорогу? – глупо спрашиваю я. Мамухов не отвечает.

Там, где мы останавливаемся, нет решётчатой ограды, припудренной снегом. Есть только белый холмик с торчащей из него металлической табличкой и разбросанными кругом рыжими комьями смёрзшейся глины. Мамухов устало опускается на снег. Полушубок его распахивается, и он становится похож на курицу, растерявшую цыплят.

– Говорят, чтобы вырыть яму, землю сначала отогревают, – говорит он и берёт в руку рыжий ком. Наверное, ему хочется проверить, сохранилось ли в нём тепло. Я отворачиваюсь.

Далеко над чёрной полоской леса ползёт самолёт. Сюда долетает басовитый гул, словно дрожит туго натянутая струна. Мамухов смахивает снег с таблички. Я читаю имя и две даты. Мамухов вытирает нос рукавом.

– Ей было семнадцать лет. Милая и прекрасная девочка. Потом неожиданно менингит. Я в больницу не ходил. Боялся. Врачи говорили, что есть надежда.

Мы долго молчим. Кругом белизна и тишь. Только в пустом воздухе звенят колокольчиками лопаты.

– Ты забыл у меня свои яблоки. С ними всё в порядке. Они стоят на радиоле. Можешь забрать.

Мамухов кивает:

– Я просверлил в ящике дырочки. Яблоки не должны испортиться.

Мои руки берутся за отвороты его полушубка.

– Только не говори, – шепчу я, притягивая Мамухова, – что вёз эти яблоки для неё. А то я заплачу.

Мамухов всхлипывает и тыкается лицом мне в грудь. А я умолкаю. Умолкаю надолго, может, на час, может, на весь день. Ровно настолько, насколько потребуется. Я вообще могу молчать целую вечность. И к тому же, я никогда не произношу лишних слов. За что и ценит меня Мамухов.

ОБИДА

1

Шестилетний кареглазый мальчик закрыл дверь и, не рискуя идти дальше, остановился.

В жёлтом «шкафчике» третьего класса, предназначенном для жилья речных туристов-путешественников, было жарко и скучно. Мама и папа спали после обеда и ни в коем случае не велели покидать каюту. Но Антоша, поборов привычку слушаться родителей, осмелился на маленькое приключение. Первый, самый трудный шаг, сделан. Сейчас мальчик размышлял, как поступить дальше. Полутёмный коридор с двумя рядами коричневых дверей, мягкой ковровой дорожкой и тусклыми потолочными светильниками был полон тайны. Он тихо гудел и подрагивал вместе со всем теплоходом. Впереди и позади солнечными прямоугольниками манили два выхода. Если быстро добежать до любого из них, то можно попасть на палубу. Этого делать тоже нельзя, но стоять в коридоре ещё глупее.

И Антоша, забыв о возможном наказании, наконец, решился. Он стремглав промчался до ближайшего выхода и выскочил на залитую солнцем палубу.

Всё получилось! Мальчик на свободе! Ему было весело и страшно!

В лицо ударили свет и вкусный, оглушающий и опьяняющий, широченный речной воздух. Сквозь воздушную линзу была видна тёмная полоска противоположного берега, наклеенного на серебристо-мутное стекло реки. Высоко-высоко над рекой и берегом стояло небо. И реки, и воздуха, и неба, и солнечного света было так много, что мальчику вдруг показалось, что он исчез в этом волшебном царстве великанов и гигантов.

Огромный и красивый мир вбирал маленького мальчика без остатка, расплавлял в зыбкое ничто, поглощал, как раскалённая печь хрупкий осколок льда. Гудевший и содрogaющийся от своей мощи теплоход казался ему живым существом, бунтующим, гордым, великолепным, спорящим с этим миром-печью на равных и везущим пассажиров туда, где мир окажется ещё огромнее и великолепнее.

Сквозь сандалии Антоша чувствовал тепло палубы и её надёжность. Ему очень нравилось, что серая краска на металлическом вибрирующем полу вытерта почти до белизны тысячами подошв. Нравилась квадратные крышки люков с суровым многоточием клёпок, сами эти люки, ведущие непонятно куда, и крышки, неизвестно что под собой прячущие. Нравилась жёсткая сетка бортового ограждения, выкрашенная в белый цвет. В неё можно упереться голыми коленками и, устроившись локтями на деревянных перилах, смотреть вниз. Тогда лицо начнёт обдувать холодный и мокрый речной ветер, а вода, казавшаяся неподвижной у той самой тёмной полоски дальнего берега, будет всё живее и прозрачнее по мере приближения к кораблю. Пока в конце концов не начнёт разлетаться от взрезающих её бортов длинными белопенными усами, не покажет свою силу, не примется хлопать широченными мокрыми ладонями в

борт теплохода, как будто встречая его этими аплодисментами, а потом вытянется в сверкающую на солнце волну, перекувырнётся несколько раз через голову и убежит назад, за корму, где превратится в кипящее хвостовое оперенье.

А в нос ударит запах разгорячённого железа, солярки, речной сырости и приключений. И ещё в лицо иногда будут попадать мелкие-мелкие брызги, такие паутинки-невидимки, целующие холодком кожу. Закроешь глаза – и ничего нет, только гул машинного железа и шипенье воды. Откроешь – река, река, река и полёт вдоль этой длинной до бесконечности реки.

– Мальчик, ты что, совсем один? А где твои родители?

Антоша отлепляется от бортовой сетки и уходит по палубе подальше отсюда. Он уже знает, что обязательно найдётся старушка в размалёванном сарафане, с бумажкой на носу, сидящая на раскладном стуле и мечтающая нарушить его мальчишеское сказочное одиночество.

– Не упади за борт, проказник!

Ну вот, река и огромный мир исчезли. Ищи-свищи заново. Какие всё-таки унылые и приставучие эти взрослые! Как будто они не на корабле, а в скучной больнице или в отделении милиции.

Мальчик дошёл до самой середины теплохода и потрогал руками красное колесо спасательного круга, висевшее на специальном крюке прямо за перилами. Раньше он думал, что круги надувные и мягкие. Теперь знал, что они твёрдые и, видимо, тяжёлые. По колесу бежали белые буквы: т/х «Капитан Зайцев». Такие же буквы, только синие и большие, украшали борт корабля.

Белый трёхпалубный корабль с синим именем поразил Антошу сразу, как только он увидел его возле причала на речном вокзале. Это было такая непростая машина, такое сложное сооружение с десятками десятков хитроумных деталей, что мальчик не поверил, что вся эта махина может плавать. Но вот они погрузились на борт, причём для этого спустились по трапу вниз, а не поднялись наверх, как в кино, затем по коридорам и лестницам добрались до своего «шкафчика», услышали крики и команды, ощутили, как задрожала каюта, как загудели внутренности корабля, как дважды протяжно крикнул ревун – и вдруг увидели, что на окне затрепыхались жёлтые занавесочки.

– Отчалили, – сказал папа.

– Пльвём, – улыбнулась мама.

И потом трёхпалубная махина уже скользила по реке и не казалась такой неуклюжей, тяжёлой и неповоротливой.

Антоша понял, что плавание – это красиво. Чуткий мальчик, он легко принимал незнакомый речной мир. Детали сначала удивляли, а потом неизменно радовали его. Синее название «Капитан Зайцев» – смешное, словно на теплоходе плыли зайцы, которыми командовал мужественный капитан – как нельзя лучше подходило к этому водному приключению. Он уже понимал, что шутки и улыбки делают мир ещё надёжнее, красивее и разноцветней.

Но сейчас надо было возвращаться в каюту!

Напоследок Антоша заглянул в специальное отделение, где стоял автомат с питьевой водой. Тут следовало поставить большую алюминиевую кружку с цепочкой точно под нос крана, потом надавить чёрную резиновую кнопку и держать её столько, сколько хочется набрать воды. Вода в автомате была какая-то особенная, чуть солоноватая, но холодная и вкусная. Выпив хотя бы полкружки, можно было считать приключение на палубе удачным и оправданным.

В глубине тесного отделения с автоматом, на выступавшем из переборки железном ящике, сидели два матроса. Тот, который был в тельняшке, что-то сказал

приятелю в рваной замызганной робе, приятель скроил удивлённую физиономию и хлопнул себя по коленке. Оба коротко рассмеялись. Антоша подумал, что пить воду здесь сейчас не надо, но остановиться почему-то не смог. Стараясь не замечать матросов и не думать о них, он набрал полную кружку и медленно, чуть-чуть давясь и захлёбываясь, влил в себя абсолютно ненужную жидкость. И вдруг остро почувствовал, что хочет в туалет.

– Похлебал, жидёнок? Теперь нифиль за собой сполосни!

Было ясно, что говорил один из матросов, скорее всего тот, который в тельняшке – он моложе и явно задиристей. Антоша ещё не знал, что значит «жидёнок», но детская опаска подсказывала, что его обозвали как-то нехорошо и грязно. И что надо поскорее отсюда уйти. Он послушно вымыл кружку, названную «нифиль», ткнул её на место и повернулся лицом к выходу и спиной к матросам.

И тут же ощутил тяжёлый пинок коленом под зад. И второй, вдогонку. Потом услышал сытый, лающий хохоток, под который и выкатился на палубу...

В каюте его встретил сидящий на узенькой откидной кровати папа. Он только что проснулся, тёр подбородок, потягивался и зевал. Лицо было тяжёлым и каким-то неприятно-незнакомым.

– Ты где был, Антоша? – спросил папа. – На палубу выходил?

– В туалет бегал, – соврал сынишка. – По-маленькому.

Папа кивнул и опять зевнул:

– Правильно. А по кораблю один не гуляй. Мало ли что случится.

– Да, пап.

Шестилетний хорошенький мальчик не спорил. Он уже на своём опыте знал, что на самом красивом корабле, на самой прекрасной реке, под самым высоким небом действительно может произойти всё что угодно.

Его мучил стыд, ему было обидно и очень страшно.

2

Дверь в кабинет главного редактора киностудии была высокая, обитая качественной чёрной кожей, пузатая и тяжёлая. Приёмная, светлая и просторная, располагала к спокойствию и уверенности.

Тони оказался здесь впервые. Двадцатипятилетний сценарист, конечно, волновался, но чувствовал себя счастливым и невероятно удачливым. Ещё бы! Первый же его полнометражный сценарий, дипломная вгиковская работа, заинтересовала студию. Со сценаристом встретился Илья Ильич Рубников, режиссёр известнейший, обожаемый властями и зрителями, хвалил, жал руку и говорил о будущей совместной работе. Рубников давно мечтал сделать картину о молодёжи. Рокерах, хиппи, неформалах и бунтарях.

Но не было достойного материала, сочной литературной основы. С героем, интригой, трагедией и поиском ответов на острые вопросы.

– У Антониони есть «Забриски Пойнт», – шурился Илья Ильич. – А у нас должен быть свой крик о своём Вудстоке. Твой «Смертельный риф жизни» – это революция общественного сознания. Кино буду снимать на грани возможного, на одном обнажённом нерве!

Месяц ушёл на оформление и заключение договора со студией. Наконец, были собраны подписи, выставлены печати и получен аванс. Две с половиной тысячи рублей произвели эффект удара током в две с половиной тысячи вольт. Мозги набекрень, лицо враздрызг, тело и душа всмятку. Почти каждый день шли телефон-

ные разговоры с Ильей Ильичём, велось обсуждение кандидатур актёров, будущей музыки, возможных мест съёмки. Писался режиссёрский сценарий. Всё больше и больше становилось новых знакомых, привлечённых к созданию фильма. Сценарист связывался с друзьями из московского и питерского рок-клубов, говорил о бомбе и жёсткой правде, которая скоро будет доступна всем.

Тони выпал из реальности, закрутившись среди колёсиков, маховичков и шестерёнок волшебного кинематографического конвейера.

Но реальность пряталась рядом, хитро подсматривая за молодым писателем одним глазком из романтических кушей.

Было около десяти часов утра. Секретарь главного редактора, сорокалетняя женщина с правильной гладкой причёской и таким же правильным и гладким до отсутствия индивидуальных черт лицом, бойко стучала на пишущей машинке, что-то подчёркивала в документах, рассовывала их по папкам и безмолвно шевелила крашеными губами. Приёмная была залита ярким золотом майского солнца и солидной профессиональной тишиной. Рубников развалился в широком синем кресле и, кажется, дремал. Чёрная дверь внушительно молчала.

Кареглазый темноволосый сценарист сидел в кресле поменьше, посматривал то на режиссёра, то на секретаршу, то на солнечное окно, то на кожаную дверь и со счастливой тревогой ожидал чего-то приятного и радостного.

Наконец, звякнул и попросил о чём-то селектор, секретарша встала и приоткрыла чёрную дверь.

– Осип Мелентьевич вас ждёт.

Рубников энергично шевельнул коленями, вылез из кресла и сказал:

– Пошли.

Главный редактор поднялся им навстречу, дружески приобнял режиссёра и уважительно смял ладонь молодому сценаристу. Осип Мелентьевич оказался невысоким ростом, почти миниатюрным, широко улыбчив, предельно скромным, лёгким и при этом монументальным. Тони засмотрелся в его вежливо-строгие бесцветные глаза и так и не понял, чего в них больше, – лукавой хитрости или змеиной мудрости. Также его поразил неопределённый возраст маленького человека, занимавшего такую видную должность, – главному редактору киностудии можно было дать как сорок, так и семьдесят лет. И голос у него был какой-то бесплотный, прозрачный, ускользающий от точных характеристик.

Если во время учёбы и ежедневных фантазий кинематограф казался реальностью, то теперь, с приближением этой реальности, он всё больше походил на фантом, на мир грёз и мир призраков. Люди, создававшие иллюзию, сами становились иллюзией.

Тони начинал подозревать, что вместо царства красоты и гармонии он влип во что-то паршивое. Неужели прекрасное умерло, встретившись с человеком?

– Проходите, ребята, рассаживайтесь! – Осип Мелентьевич нырнул за свой стол и как будто бы вырос. – Новость потрясающая! В среду мне звонил сам Иноземский. Он восхищён сценарием. По его мнению, картину ждёт большое будущее. Киностудии предстоит профессиональный и нравственный подвиг. Ни одного грамма художественной правды не должно быть потеряно.

Сценарист обратил внимание на то, что режиссёр, слушая редактора, кивает головой и улыбается, при этом не спуская с него неподвижных ярко-синих глаз, как с хищного и опасного зверя. Тони решил помалкивать и внимательно наблюдать за происходящим.

– Зачем ты нас пригласил, Осип Мелентьевич?

– Есть некоторые вопросы.

– Спрашивай.

- Кто будет играть главную роль?
- Олег Валь. Он читал сценарий, согласен на любых условиях.
- После скандала с «Влюблённым снайпером» его не утвердят.
- Повоюем!
- Не советую. Чашников и Госкино будут против.
- Что ещё?
- У редакционного совета есть претензии к сценарию.

Редактор взял со стола пачку листов, схваченных скрепкой. Режиссёр протянул руку Тони, предлагая тому фиксировать замечания. Сценарист достал из внутреннего кармана пиджака блокнот и шариковую ручку.

– Первое: страницы 13, 27, 44, 51, 85, 86, 87, 99, 110, 123, 145 и 146 надо переписать. Диалоги должны быть веселее и нейтральнее. Второе: имена главного героя и главной героини изменить, клички не употреблять, жаргон рок-музыкантов, двусмысленные словечки и непонятные термины изъять. Две интимные сцены – на пляже и в автомобиле – заменить на что-нибудь другое, более мягкое и приличное. Третье: действие из Москвы и Ленинграда перенести в другие города, лучше без конкретного названия и точного местоположения. Четвёртое: попытку самоубийства героя убрать, пусть лучше попадёт в вырезатель или его укусит собака. Пятое: концерт рок-музыканты играют не в тюрьме, а в пионерлагере или, допустим, в ПТУ. Шестое... Седьмое... Восьмое... Девятое... Десятое... Одиннадцатое... Двенадцатое...

Тони не помнил, как снова очутился в приёмной. Сияло золотое окно, голова была чужая, уши заложено ватой, в груди прыгало и дёргалось что-то беспомощное, тщедушное и мокрое. Он вдруг увидел себя, стоящего возле столика секретарши, пьющего воду из граненого стакана и бессмысленно хлопающего пустыми глазами. Блокнот и ручка валялись на полу. Секретарша с гладким лицом куда-то звонила и просила как можно быстрее прислать карету скорой помощи. В воздухе висел мятный запах корвалола.

Внезапно прямо перед собой сценарист увидел два мужских лица: маленькое и большое, жалостливое и сердитое, хитрое и прямолинейное. Бесцветные и яркосиние глаза заглядывали ему в самую душу, два рта извивались и расстреливали пространство тупыми звуками:

- Что с ним?
- Обоссался писатель.
- Расстегни ему воротник.
- Лучше уж брюки.
- Илья, ты циник.
- А ты нежный ландыш.
- Ладно... Что будем делать?
- Работать, Ося, работать! Он придёт в себя и всё подправит. Ко вторнику я сформирую съёмочную группу, ты возьмёшь на себя редсовет, через три дня подпишем режиссёрский сценарий, получим бюджет, сделаем кинопробы, утвердим и оформим актёрский состав...
- Подожди, подожди! Ты понял, что Олег Валь сниматься не может?
- Чашников способен решить это вопрос в нашу пользу?
- Если только ты сам поедешь к нему...
- Значит, завтра же еду и...
- Следи за сценаристом...
- Да он уже всё понял...
- ВГИК?..
- ВГИК...

– Молокосос...

– Сопляк...

Чёрная пузатая дверь закрылась.

Тони было плохо, но он знал, что через пять минут встанет со стула и ещё раз войдёт в кабинет редактора. Утрёт соплю, выпрямит спину, нацепит пудовую улыбку и войдёт. Потому что он сам написал этот сценарий. Выдумал, выносил, выстрадал. И корёжить его будет только он сам.

Нет, мир не станет лучше от задуманного ими фильма. Но лучше станет его душе. И, значит, опять можно будет любоваться этим миром.

Только красота души спасает мир от распада. Поняв это, почувствовав и однажды пережив, имеет смысл идти до конца, поплёвывать равнодушно на все тычки и пинки, смешки и оскорбления, упорно гнуть свою линию, верить в удачу, терпеть и бороться...

Ну вот, теперь с головой всё было в порядке. Он хорошо видел, слышал и соображал. Обида и стыд погасли. Тони встал, подобрал с пола блокнот, ручку и направился к чёрной двери.

3

С утра пошёл снег. Вместе с белым цветом городом овладевала тишина. Снегопад колдовал над домами, дворами, улицами и площадями, нашёптывал что-то чёрным деревьям, фонарям, проводам, машинам и пешеходам.

Небо тоже включилось в эту колдовскую игру. Оно делало вид, что его нет, и снежные хлопья сыпались на город ниоткуда, сами по себе рождались в воздухе, заваливали тротуары белым ничто, громоздили пушистые крепости, башенки и стенки на крышах, карнизах и заборах.

Мир наполнялся хлопотливым и невесомым молчанием.

Декабрь в этом году был просто чудесный. Волшебный зимний сон снился городу третью неделю.

Антон, сорокачетырёхлетний темноволосый мужчина с мечтательным лицом и апатичными карими глазами, сидел на подоконнике в больничной палате и любовался снегопадом. Утренние лечебные процедуры были закончены, сестра сделала нужный укол и увезла капельницу, теперь можно было просто смотреть в окно, ни о чём не думать и дожидаться обеда.

Неожиданно тренькнул мобильник. Антон посмотрел на окошечко монитора – звонила жена. Он нажал клавишу связи и сказал:

– Здравствуй, Марфа!

– Привет, Антон! Как твои дела?

– Без проблем.

– Я заеду после пяти. Что-нибудь привезти?

Больше всего Антону хотелось, чтобы жена не спрашивала о его желаниях, а удивила хотя бы раз неожиданным, пусть бестолковым и нелепым, но душевным сюрпризом. Тогда можно было бы рассмеяться и хорошо пошутить, расцеловаться и назвать друг друга прикольными или балбесами, похохмить или подразнить, сказать что-нибудь очень доброе или...

– Чего ты молчишь?

– Задумался.

– Ладно. Вечером увидимся.

– Пока!

После обеда Антон взял ходунки, вылез из палаты в общий коридор и осторожно курсировал от стойки дежурной медсестры до лифта и обратно. Выходило тридцать четыре шага в одну сторону и столько же в другую. Ничего стоического или героического в его характере не было. И смысл в совершении этих тридцати четырёх шагов отсутствовал напрочь. Аутоимунное заболевание не корректировалось тренировками. Просто Антон убедил себя, что ежедневно должен преодолевать этот короткий маршрут, опираясь на ходунки и передвигая больные ноги, присаживаясь иногда для отдыха на чёрную банкетку, стоящую у стены в восьми шагах от лифта и двадцати шести шагах от ресепшна. Как зверь, болтаться по клетке, чтобы оставить в себе как можно меньше человеческого, чтобы не размышлять о страдании, чтобы уравнивать бессилие с бессилием, боль с болью и безнадежность с безнадежностью.

Когда в палату вошла жена, он вновь сидел у окна и теперь ждал ужина. На улице стемнело, снежные мухи танцевали за чёрным стеклом и слепыми стайками кидались в сторону электрического комнатного света. На зимние сапоги Марфа натянула бахилы из голубого полиэтилена. В них жена выглядела нелепо, словно космонавт, у которого украли скафандр, или работница атомной электростанции, которой забыли выдать полный комплект спецодежды от облучения. Антон остро почувствовал свою вину в том, что молодая и красивая женщина вынуждена явиться в этот маскарадный костюм.

Заболев, Антон впервые в жизни понял, насколько вообще все люди зависят друг от друга. Удача одного нередко делала счастливыми двоих. Беда стирала в пыль последние надежды. Наверное, на разных этапах своей жизни он только предчувствовал красоту мира, но так и не дорос до её понимания. Оттого-то мир и стремился развалиться каждый раз, когда не хватало души, сердца и воображения принимать его таким, как он есть. Проще говоря, вообразить жизнь оказалось куда легче, чем узнать, чем же она является на самом деле.

Марфа внимательно смотрела на мужа и думала приблизительно о том же самом. Но, как женщина, она быстрее приходила к определённым выводам. И дальше её натура требовала решительных действий. Сейчас, например, был самый подходящий момент для того, чтобы окончательно разъяснить ситуацию. Никого ни в чём не обвиняя, никого ничем не запугивая, никому ничего не обещая. Ей было жалко Антона, само собой! Но кто же, в конце концов, пожалеет её?

– Давай что-нибудь решать, – бодрым голосом сказала Марфа. Ей казалось, что говорить нужно именно бодро и уверенно, чтобы не превращать тяжёлый разговор в обоюдную пытку. Она очень хорошо понимала, что в её душе не осталось почти ничего из того, что можно назвать «терпением», «милосердием», «надеждой» или «жалостью». Что из того? Женщина была готова принять на себя вину за свою бесчужественность и агрессивность. Пусть он останется потерпевшим. Оскорблённым. Обиженным. Пусть! Но если этот слабовольный кисляк...

– Ты уже всё решила, – подал голос Антон. – Что дальше?

Марфа вскочила со стула и, опустив голову, несколько раз пробежалась по палате. Почему, почему в последнее время её так раздражала его способность предугадывать события и коротко и ясно формулировать их суть? Возможно, она боялась, что он начнёт трактовать её поступки позорным для неё образом, а потом со свойственной ему заумью тянуть, волынить и ездить ей по мозгам многословием и вечными цитатами из киношной классики. То есть насмеяться и делать вид, что ничего по-настоящему страшного не произошло!

Поэтому она вдруг рухнула на высокую и жёсткую больничную койку и заревела с какими-то животными подвываниями.

Антон не шевельнулся. Он только отвёл взгляд и неразборчиво прошептал одно единственное слово, очень короткое и, очевидно, злое.

Через три минуты Марфа успокоилась. Сев на постели, она промокнула глаза платком, вытерла нос и заговорила.

Муж слушал свою жену не перебивая и не возражая.

Его болезнь её измучила. Она очень устала видеть, как он медленно теряет физические силы, двигается с каждым днём всё хуже и хуже, превращается в немощного и несчастного калеку. Если раньше она верила, что болезнь можно преодолеть или хотя бы ей сопротивляться, то теперь ясно, что выхода нет. Конечно, он держится молодцом, по-мужски и очень достойно. Но она, как женщина, дальше так жить не может. Она ничем не заслужила этой муки. Им следует развестись и жить отдельно. Она будет приезжать к нему домой раз или два в неделю, прибираться, ходить в магазин за продуктами, покупать лекарства и по возможности за ним ухаживать, то есть не бросит совсем, потому что в его состоянии, при его заболевании ему необходима помощь. Но лучше всего, если он напишет заявление в собес и договорится о прикреплении к нему социального работника. Это действительно будет квалифицированная и профессиональная забота. Нет-нет, она, как бывшая супруга, прожившая с ним почти десять лет и любившая его по-настоящему, не забудет его и сделает со своей стороны всё, что возможно. Путёвки в санатории или пансионаты, необходимые медицинские средства, направления в больницы и всё такое. Если он захочет, она даже сможет иногда приезжать и выводить его на прогулку. Между прочим, надо купить хорошее инвалидное кресло, сейчас есть модели с электромотором и панелью управления, ему будет удобно пользоваться такой коляской...

– Пошла вон отсюда! – перебил жену Антон. – И не смей здесь больше появляться. Развод получишь в ближайшее время. Я думал, что ты человек, но, наверное, ошибся. Всем нам суждено ошибаться. Вон отсюда!.. Вон!.. Вон!.. Вон!..

На его крик прибежала медицинская сестра. Она быстро увела перепуганную жену, потом вернулась и вкатила ему успокоительный укол. Антон уснул, а когда проснулся, то увидел, что за чёрным окном всё белым-бело от разыгравшейся метели. Он открыл обе створки и долго дышал холодным, чистым и лёгким воздухом. Было так славно и тихо, что хотелось одновременно смеяться и плакать. Ночная метель кружилась свободно, бесшумно, озорно и красиво.

На лицо ложились мелкие-мелкие брызги, такие паутинки-невидимки, целующие холодком кожу...

Темнота, похожая на прячущуюся за снежной занавеской чёрную дверь, внушительно молчала...

Антон удивился: так странно, что в его жизни не осталось ни красоты, ни творческого безумия, ни любви, а была одна только обида. Из-за которой хотелось умереть, и чем быстрее, тем лучше.